



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

«Петербургу быть пусто»

У меня, должно быть, лихорадка. Не удивляйтесь же, что слова мои будут похожи на бред. Кто нынче не бредит? Вы к этому привыкли. И если все чаще слова здравомыслящих напоминают бред, то, может быть, в бреду окажется крупица смысла...

Ну, довольно. Предисловия вообще бесполезны. Лучше сразу начать. Только вот не знаю, как бы повежливее.

Моя ежедневная прогулка — по Летнему саду, мимо домика Петра Великого. Там на старых липах множество вороньих гнезд. Когда убийцы Павла I проходили ночью по средней аллее сада к Михайловскому замку, то поднялось такое карканье, что заговорщики боялись, как бы не проснулся спящий император. Вороны и надо мной каркают. Есть легенда, что эта вещая птица живет столетия. Может быть, некоторые из них помнят Петра.

И вот, в последнее время мне чудится в их карканье злое пророчество, то самое, за которое в 1703 году, при основании города, били кнутом, ссылали на галеры, рвали ноздри и резали языки: «Петербургу быть пусто»¹.

«Три старых рыбака, живших до основания Петербурга в местах, где возник город, рассказывали в 1721 году, что за тридцать лет перед тем было такое наводнение, что вся страна до Ниеншанца была потоплена, и что подобные бедствия повторяются почти каждые пять лет. Поэтому первобытные жители невского побережья никогда не строили там прочных жилищ, но небольшие рыбацьи хижины. Как только, по приметам, ожидалась большая буря, крестьяне ломали свои хижины, а бревна и доски складывали как плоты и привязывали к деревьям; сами же, в ожидании убыли воды, спасались на Дудареву гору» («Петербургская старина», академ. П. Пекарского)².

Веря этим пророчествам, русские люди, насильно загнанные в «Парадиз», говорили, что здесь жить нельзя, что город будет снесен водой или провалится в трясину.

Осенью 1905 года я как-то раз вечером шел по Невскому. Вдруг все электрические фонари потухли. Наступила темнота, словно черное небо обрушилось. Подростки-хулиганы засвистели пронзительно, и раздался звон разбитого стекла. По направлению от Аничкина моста к Литейной бежали черные толпы. Ковыляющая старушка-барыня со съехавшей на бок шляпой закричала мне в лицо: «Не ходите, там стреляют!» И мне действительно слышались или почудились выстрелы. Было страшно, как во сне. И вспомнился мне сон. Впрочем, снов рассказывать не следует. Только два слова. Черный облик далекого города на черном небе: груды зданий, башни, купола церквей, фабричные трубы. Вдруг по этой черноте забегали огни, как искры по куску обугленной бумаги. И понял я, или кто-то мне сказал, что это взрывы исполинского подкопа. Я ждал, я знал, что еще миг — и весь город взлетит на воздух, и черное небо обагрится исполинским заревом.

Я уехал в том же году, когда уже почти все было кончено; вернулся этой осенью, в самое сердце реакции, в самое сердце холеры. Ни той, ни другой не видно конца. Каждый день на страницах «Нового времени» печатается Memento mori *: «Заболело 17 человек, умерло 9». Кажется, на всем Петербурге, как на склянке с ядом, появилась мертвая голова. Сведущие люди уверяют, будто бы холера никогда не кончится, и устье Невы сделается необитаемым, как устье Ганга: «Петербургу быть пусту».

Но ни холера, ни реакция, ни чудовищные слухи о самоубийствах, об «одиноких», о «кошкодавах», ни даже эта страшная тоска на лицах, о, конечно, всероссийская, на которая именно здесь, в Петербурге, достигает каких-то небывалых пределов безумия (никто не замечает своего и чужого безумия, кажется, потому что все вместе потихоньку сходят с ума), — нет, не все это, а что-то иное заставляет меня испытывать вновь знакомое «чувство конца», видеть в лице Петербурга то, что врач называет *facies Hippocratica*, «лицо смерти».

«Я замечал, — говорит Печорин в лермонтовском «Фаталисте», — что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы».

Главное, что поразило меня в Петербурге, это именно то, что лицо его *ничуть не изменилось*. Петербург тогда и теперь — как

* Помни о смерти (лат.). — *Ред.*

две капли воды. Правда, весь он осунулся как-то, одряхлел, постарел собачьей старостью. Но ничего не убавилось и не прибавилось. Только электрические трамваи, кинематографы да прозрачный двойник Василия Блаженного. Но ведь этого мало даже для октябристов и мирнообновленцев.

Надо прожить несколько лет в Европе, чтобы почувствовать, что Петербург все еще не европейский город, а какая-то огромная каменная чухонская деревня. Не вытанцовывавшаяся и уже запакощенная Европа. Ежели он и похож на город иностранный, то разве в том смысле, как лакей Смердяков «похож на самого благородного иностранца», — как в частушке поется:

Если барин при цепочке,
 Это значит — без часов.
 Если барин при галошах,
 Это барин — без сапог.

Да, Петербург не изменился, и в этой-то неизменности, неизменяемости — «лицо смерти».

Шлепая по невероятной, черно-коричневой жиже среди невероятного, черно-желтого тумана, я думаю: точь-в-точь, как три года назад: три года — три века; нам казалось, что произошли в них большие события, чем смутное время, чем петровская реформа и двенадцатый год. Но вот оказывается, что ничего не произошло. Было, как бы не было. Да уж полно, было ли? Все голоса Петербурга вопят: не было! Но я знаю, помню. Надо сойти с ума, чтобы забыть. Тут-то и начинается мой бред, мой ужас, мое «чувство конца». И тут же вспоминается мне Достоевский:

«Петербургское утро, гнилое, сырое и туманное... Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: а что как разлетится этот туман и уйдет кверху — не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизный город, подыметесь туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красоты бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?.. Вот они все кидаются и мечутся, а почему знать, может быть, все это чей-нибудь сон? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится, — и все вдруг исчезнет».

Было, как не было.

Недавно ездил я в Москву. Это наш древний паломнический путь, освященный первою книгою русской свободы — радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву». Сразу очнулся от бреда, как будто из подземной темницы вырвался на Божий свет.

Люди как люди, город. Веселые санки скрипят по крепкому снегу, и можно не бояться, что завтра превратится он в черную слякоть. Румяные торговки у Спасских ворот, зазывая в лавочки, предлагают, должно быть, точно такие же, как в XVII веке, вязанные рукавички. И, кажется, пахнет в воздухе старозаветным славянофильским бубликом. Вот-вот встретишь на углу И. С. Аксакова³, который скажет мне, как некогда говаривал Достоевскому: «Первое условие для освобождения в себе пленного чувства народности — возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми помыслами своими». Я с ним поспорю, поругаюсь, а все-таки почувствую в нем какую-то родную бабушкину сказку, бабушкину правду. Несмотря на чудовищный декадентский Метрополь и горячечный, розово-фиолетовый блеск электрических солнц на белокаменных стенах Китай-города, лицо Москвы все еще напоминает лицо пушкинской няни Арины Родионовны — «голубка дряхлая моя». Но что-то есть в этой дряхлости юное, вечное, что дает понять, что не отречется она от того, что здесь было. И если Петербург скажет: не было, — то камни Москвы возопиют: было, было!

И вот еще что. Как это ни странно, но в некоторых уголках Кремля я чувствую себя, как на старых площадях Флоренции, Перуджи: недаром строили эти соборы и башни вместе с русскими каменщиками итальянские зодчие. Я чувствую себя здесь ближе к подлинной святой Европе, чем в Петербурге. И пусть это первое прикосновение русского духа к духу всемирному — слепое, слабое, сонное, для нас теперь уже невозможное, — но оно все-таки правдивое, без тех двусмысленных петербургских «кумплиментов» («Приклады како пишутся кумплименты», СПб., изд. 1717 г.), о которых говорит Антиох Кантемир в своих виршах:

Иной бедный, кто сердцем учиться желает,
Всеми силами к тому скоро поспешает;
А пришед, кумплиментов увидит немало,
Высоких же наук там тени не бывало.

Ну, тень-то, пожалуй, и была, но именно только тень, сон; «проснется, кому все это грезится — и все вдруг исчезнет».

Из русской земли Москва выросла и окружена русской землей, а не болотным кладбищем с кочками вместо могил и могилами вместо кочек. Москва выросла, Петербург выращен, вытащен из земли, или даже просто «вымышлен».

«В 1714 году Петр задумал умножить Петербург; заметив, что в городе медленно строились дома, царь запретил во всем госу-

дарстве сооружать каменные здания с угрозой в противном случае разорения имения и ссылки. Постановлено было на всех судах, проходивших в Петербург через Ладожское озеро, также на всех подводах привозить камень и сдать его обер-комиссару. Если кто не исполнял этого положения, то с того доправлялось за каждый камень по гривне».

Еще бы не умышленный город!

Рабочие, которых сгоняли, как скот, со всех концов России, пели заунывную песню:

Подымались добры молодцы,
Добры молодцы, люди вольные,
Все ребяташки понизовые,
На работушку государеву.

Один из этих «вольных людей» «на Васильевском славном острове» корабли снастит и на вопрос красной девицы, зачем он это делает, отвечает:

Что ты, глупая, красна девица,
Неразумная дочь отецкая:
Не своей волей корабли снащу,
Не своею я охотою, —
По указу государеву,
По приказу адмиральскому.

Воплощение этой «не своей воли» и есть Петербург.

При возведении первоначальных укреплений нужна была земля, а ее поблизости не находилось: кругом была только трясина, покрытая мохом; землю таскали к бастионам из дальних мест в старых мешках, рогожках или даже просто в полах платья. Люди оставались без хлеба, без крова и мерли, как мухи. Покойников не успевали хоронить и волокли, как падаль, в общую яму. Сооружение Петропавловской крепости стоило жизни 100 тысячам переселенцев. О Петербурге сказано:

Богатырь его построил,
Топь костями забутил...

Недавно, по поводу холеры, один врач в Городской думе заметил с цинической, но живописной грубостью, что «весь Петербург стоит на исполинском нужнике».

Красуйся, град Петров, и стой,
Неколебимо, как Россия! —

воскликает Пушкин. Ужасно то, что этот исполинский нужник — исполинская могила, наполненная человеческими костями. И кажется иногда в желтом тумане, что мертвецы встают и

говорят нам, живым: «Вы нынче умрете!» — как сказал Печорин Вуличу, заметив на лице его «странный отпечаток неизбежной судьбы».

«Медный всадник» — «петербургская повесть» — самое революционное из всех произведений Пушкина. «Пушкин представлял поэму в цензуру, — говорит Ефремов⁴, — но разрешения на напечатание не последовало». Если бы поэму поняли как следует, то, чего доброго, и в наши дни не последовало бы разрешения.

Под видом хвалы тут ставится дерзновенный вопрос о том,

...чьей волей роковой
Над морем город основался, —

обо всем «петербургском периоде русской истории».

О, мощный властелин судьбы,
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию вздернул на дыбы?

«Дыбой» называлось орудие пытки, на котором били кнутом. Сын Петра, царевич Алексей, за два дня до смерти вздернут был в застенке на дыбу — «дано 25 ударов» — и «спрашиван о всех его делах, и по расспросам и с розыску сказал: «Учитель-де Вяземский в разговорах с ним, царевичем, говаривал: Степан-де Беляев с певчими при отце твоём поют: Бог иде же хочет, побеждается естества чин; а ему-де то и любо, что его с Богом равняют». — «Бог иде же хочет, побеждается естества чин», — это значит: волею Бога побеждаются законы природы, совершается чудо. Петербург и есть такое чудо. Здесь «чин естества» побежден «чудотворным строителем» — не человеком, а «богом». Феофан Прокопович назвал его «христом», а раскольники называли «антихристом». Петербург и есть та «вечная дыба», на которой пытаются, — Христос или Антихрист?⁵

Достоевский понял, что в Петербурге Россия дошла до какой-то «окончательной точки» и теперь «вся колеблется над бездной».

...над бездной...
Россию вздернул на дыбы.

Но нельзя же вечно стоять на дыбах. И ужас в том, что «опустить копыта» — значит рухнуть в бездну.

И тут же дерзновенный вопрос переходит в дерзновеннейший ответ, в безумный вызов:

Добро, строитель чудотворный!
Ужо тебе!..

Это и есть первая точка нашего безумия, нашего бреда, нашего ужаса: «Петербургу быть пусто».

...И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...

Лицо бога обращается в лицо демона. И все мы, как этот «Безумец бледный», бежим и слышим за собой,

Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой...

Бежим, как мыши от кота. Но сначала кот ловит мышей, а потом кота мыши хоронят. «Мыши кота хоронят» — лубочная картинка на кончину Петра I, а может быть, и на конец «всего петербургского периода русской истории».

«По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калининна моста стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели».

Это Акакий Акакиевич. Мертвец ухватил за воротник «одно значительное лицо»: «А, так вот ты, наконец... Я тебя того...» — «Ужо тебе!»

Навстречу Медному Всаднику несется Акакий Акакиевич. И не он один. Бесчисленные мертвецы, чьими костями «забучена топь», встают в черно-желтом, реакционно-холерном тумане, собираются в полчища и окружают глыбу гранита, с которой Всадник вместе с конем падает в бездну.

В «Призраках» Тургенева тотчас же после видения Петербурга возникает иное видение:

«Что-то изжелта-черное, пестрое, как брюхо ящерицы — не туча и не дым — медленно, змеиным движением, двигалось над землей... Гнилым, тлетворным холодком несло... От этого холодка тошнило на сердце, и в глазах темнело, и волосы вставали дыбом. Это сила шла: та сила, которой нет сопротивления, которой все подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла — все видит, все знает и, как хищная птица, выбирает свои жертвы, как змея, их давит и лижет своим мерзким жалом...

Громадный образ закутанной фигуры на бледном коне мгновенно встал и взвился под самое небо...»

Тут, конечно, Тургенев вспомнил Апокалипсис: *И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть*⁷.

Несколько лет назад, в один морозно-ясный день появились вокруг низкого солнца над Петербургом какие-то бледные радуги, похожие на северное сияние. Видевшие помнят ли или забыли, как забывают ныне все, что было? Было, как не было.

Когда я смотрел на это знамение, то казалось, вот-вот появится «конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть».

Смерть России — жизнь Петербурга, может быть, и наоборот, смерть Петербурга — жизнь России.

Глазами смотреть будут и не увидят; ушами слушать будут и не услышат⁸. Не увидят «Всадника на белом коне», не услышат трубного голоса: «Петербургу быть пусту».

1908

